

журнал поэзии

плавучий МОСТ

3 / 2018



Коллектив авторов

**Плавучий мост. Журнал
поэзии. №3/2018**

«Летний сад»

2018

Коллектив авторов

Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2018 / Коллектив авторов —
«Летний сад», 2018

«Знакомая и довольно грустная ситуация – на вечере поэзии в зале сидят одни стихотворцы и терпеливо ждут своей очереди, чтобы прочесть несколько собственных стихотворений. Не раз слышал от собратьев по перу горькие сетования на отсутствие читателя-слушателя. Ситуация не то чтобы новая, но как-то отчетливо обнажившаяся в последние годы...»

© Коллектив авторов, 2018

© Летний сад, 2018

Содержание

Поэзия и время	7
Берега	9
Пётр Чейгин	9
«Июльские любовники ленивы...»	9
«Полозьями пресветел день...»	10
«Когда бы телом дорости...»	10
«Двойне сорок на крыше ветряной...»	11
«Окно осенней рани. Клеть в миру...»	11
«Високосным разладом пульсаций настигнут. – Целуй...»	12
«О днях, ушедших в черный ход...»	12
«Обманулись...»	13
Майские представления	13
«Одиноче воды, по которой гулял Одиссей...»	14
«Трезвости хрустальный позвонок...»	14
«Теоретик стыда теорему дыхания учит до слез...»	15
В декабре	15
«Юра. October. Челюсти лета светло...»	16
Ответ на «Обмен» А. Кушнера	17
Сны	17
Возвращение в лето	18
Реалии	20
«У тумана весел нет...»	20
Проба-2	21
«Пройдя к подруге несуразной...»	21
«Разыщи себя в камаринском стекле...»	22
«Гуще свистящих в ветвях...»	22
Олеся Николаева	24
Антонов	24
Прощённое воскресенье	25
Быль	26
Вертеп	27
Лютер	28
Верб	28
Народная песня	29
Чуждый огонь	30
Грустная история	31
Осенний псалом	31
На смерть друга	32
Музыка	32
«Бывает, когда лишь да-да, нет-нет...»	33
Интервью с Олесей Николаевой	34
Дельта	38
Владимир Тучков	38
Их было семеро	38
«Эй-вратарь-готовься-к-бою...»	42
Вячеслав Иванов	44

«Автобус. Девочка с айфоном...»	44
«Живу в молчании. А с кем...»	44
«Нежностью первого снега...»	45
«Когда Серега умер от запоя...»	45
«Просить остаться уходящего...»	46
«Дорога – пыль. Дорога – снег...»	46
«Так ветрено. Ты пишешь мне: «Привет»...»	47
Велосипед	47
«Как живу? Да обычно весьма...»	48
«Я б рад ответить за базар...»	48
«Не выбросить печаль из головы...»	49
«Он не то, что одет не по моде...»	49
«Я в бар хожу по четвергам...»	50
«Напиши мне письмецо...»	50
«...А ночами к Ивановым от Иванниковых...»	51
Евгений Мауль	52
Точка невозврата	52
Степная мистерия	53
Аральские листки	54
Низверженный Перун	55
Дубровник	56
Юлия Пивоварова	58
Пикник	58
«А ну давай, читай письмо пустое...»	58
«Дедушка, мальчик, мужчина...»	59
Сумерки	59
«В ливне поля мокнут...»	60
Свадьба	60
«Это небо ночное в снегу...»	61
«Мой ренессанс цветёт махровым цветом...»	61
«За городом античным...»	62
«Я помню Балтийский залив...»	62
«На площади трёх помоек...»	63
«То степь, то город, то вершина.....»	63
Весна	64
Максим Лаврентьев	65
По бульварам	65
Парк во времени	68
«Всё, что трепетно любишь ты...»	69
«Наблюдать как носится чижик...»	70
«У исторического парка...»	70
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Плавучий мост

© Редакция журнала «Плавучий мост», 2018

© Waldemar Weber Verlag, Аугсбург, 2018 Авторы публикаций, 2018

* * *

Поэзия и время Геннадий Калашников Любите поэзию, поэты!

Знакомая и довольно грустная ситуация – на вечере поэзии в зале сидят одни стихотворцы и терпеливо ждут своей очереди, чтобы прочесть несколько собственных стихотворений. Не раз слышал от собратьев по перу горькие сетования на отсутствие читателя-слушателя. Ситуация не то чтобы новая, но как-то отчетливо обнажившаяся в последние годы.

Зато какое счастье испытываешь, когда читаешь «не поэтам». Чаще всего подобное происходит в провинции, и тут вдруг обнаруживаешь, что он – терпеливый, внимательный, понимающий читатель – есть.

Понимаю, что я начал «за упокой» и говорю о вещах, давно известных, но отделаться от своих ощущений, от сложившегося положения дел не могу. Попробую все же отыскать нечто позитивное. В последние несколько лет я довольно часто езжу по стране, участвую в различных литературных фестивалях, веду мастер-классы по поэзии, работаю в жюри литературных конкурсов. И не устаю поражаться неисчислимому количеству стихотворцев. Куда бы ни занесла меня судьба – в Красноярск, Челябинск, Оренбург, Тулу, Елабугу... – всюду есть литобъединения, группы людей, объединившихся на почве стихотворства. Вспоминаются стихи моего учителя Евгения Винокурова: *. Все пишут стихи. / Пишет весь мир! / Я разочаровался в людях. .* Нет, я далек от разочарования, хотя порой приходится разгребать тонны графомании, но, как заканчивает стихотворение Винокуров: *Я бы возненавидел поэзию, / Люто, на всю жизнь. / Но вдруг попадалась строка...* Действительно, ради этой строки, ради внезапно блеснувшего таланта стоит и потерпеть.

И все же такое обилие пишущих и в рифму, и верлибром, да еще выражающих себя авангардистскими жестами и звуками настораживает. Хотя, казалось бы, что тут плохого? «В российской поэзии всего много, и кажется, что она сейчас так велика и обильна, как не была никогда...» – бесстрастно отмечает Сергей Чупринин. Мнение уравновешенного историка литпроцесса, знатока поэзии вроде бы, несмотря на сквозящую в нем иронию, должно успокоить, но почему-то не успокаивает. Думается, что слово «велика» здесь употреблено в значении «большая, огромная», а не в значении величавости. Большая. Да, что есть, то есть! Но обилие производимой стихотворной продукции не утешает – около 2-х миллионов (двух миллионов!) стихотворений в год выдает на гора армада пишущих стихи. При ближайшем рассмотрении мы увидим терриконы рифмованной «словесной руды», из которой невозможно добыть ни единого звенящего поэтического слова. Исхожу из собственного опыта общения с нынешними стихотворцами – к огромному сожалению, большинство из них не знают, собственно, русской поэзии. Помнится Борис Абрамович Слуцкий говорил, что коли мы уж взялись за писание стихов, то должны знать русскую поэзию от Акима Нахимова до самого незаметного из стихотворцев. Он, конечно, преувеличивал, но знания не только вершин отечественной поэзии, но и поэтов второго и третьего ряда он от нас требовал. Сейчас требовать подобное, похоже, нельзя. Даже в так называемых творческих вузах я сталкивался с абсолютным равнодушием к творчеству и предшественников, и современников. Так сказать, мы сами с усами, изобретем велосипед. Только не очень получается, несмотря на все модные и сложные приемы и ходы.

Вроде бы тут не о чем и говорить – графоманов и рифмоплетов хватало во все времена. Но нынешнее их обилие, да еще подкрепленное виртуальными возможностями, мне представляется нездоровым. Тут, как мне кажется, начинает действовать обратная связь, царить круговая порука. Размываются критерии, сбиваются масштабы, мельчают ориентиры, утрачивается понятие такта и вкуса. Даже талантливому человеку трудно устоять и не поддаться соблазну

написать под ту или иную премию, учитывая пристрастия ее жюри, а то и специально к развлекательным слэмам. Создаются не литературные направления, а сбиваются группки с лидером-«гением» и соответствующими вкусами и манерами. Занятие стихотворчеством превращается в некое безобидное рукоделие, легкое развлечение. Совершенно утрачивается подлинное понимание поэзии, допустим, такое, о котором писал Михаил Пришвин: «У нас создалась поэзия как защита против невыносимого ужаса мира. Так и помните, граждане, что поэзия не сладкое блюдо для вас, а детище страданий и ужаса...». В общем, никак у меня не получается сказать «за здоровье» современной поэзии, пытаюсь взглянуть на нее «с высоты птичьего полета». И в то же время я убежден, что отечественная поэзия не растратила свой арсенал, у нее далекий горизонт, где мирно уживаются и рифмованные строки, и авангардистские эксперименты, и верлибр, пока не обретший, на мой взгляд, своего русского канона. Свидетельство тому творчество подлинных поэтов-современников. Они, к счастью, есть, и их стихи – отрадные оазисы в безбрежной пустыне нынешнего стихотворства. Хочется закончить эти ворчливые заметки несколько перефразированным призывом Николая Заболоцкого: Любите поэзию, поэты!

Примечание:

Геннадий Калашников – поэт и прозаик, живет в Москве.

Берега

Пётр Чейгин Стихотворения

Петр Николаевич Чейгин родился в 1948 г. в городе Ораниенбауме (Ломоносов) Ленинградской области. С 1955 г. живет в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Автор шести поэтических книг. Член русского ПЕН-Центра. Лауреат международной Отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка, обладатель премии «Русского Гулливера» за вклад в развитие современной поэзии.

Петр Чейгин – участник знаменитого ЛИТО Глеба Семенова, один из тех кто создавал особую поэтическую ауру культурной столицы России.

Как многие поэты ленинградского андеграунда, он не имел выхода в официальную печать. Его стихи публиковались в ленинградском самиздате, позднее проникли за рубеж.

Только в 90-е годы появились первые журнальные публикации. А первая книга «Пернатый снег» вышла в издательстве НЛЮ в 2007 году, когда автору было 59 лет. Это, пожалуй, своего рода рекорд.

В Предисловии к этой книге Ольга Седакова, по ее собственным словам, «многие стихи помнившая наизусть уже десятилетия», писала: «Я сказала бы, что Петр Чейгин – быть может, самый радикальный поэт поколения в своей верности языку поэзии».

Тогда же, в 2007-ом, в Петербурге вышла вторая книга «Зона жизни». Две эти книги явили изумленному читателю совершенно необычное явление: поэта на глубине речи. Поэта, в которого надо вглядываться и вчитываться с таким вниманием и, я бы сказал, с осторожностью, чтобы не пропустить мельчайших оттенков, запечатленного в слове бытия.

Этот редчайший дар Петра Чейгина в Предисловии к его «Третьей книге» (СПб., 2012) подчеркивает другой замечательный поэт – Владимир Алейников. Называя Чейгина «зорким наблюдателем реальности», органически раскрывающим суть вещей.

Может быть не случайно Петр Чейгин родился в городе, который прямо в год его рождения был переименован в честь Ломоносова! Именно Ломоносов говорил, что поэзия оперирует соединением «далековатых идей». Это сопряжение в стихах Петра Чейгина нарастает панорамически, подвигая читателя на сотворчество.

Сергей Бирюков

«Июльские любовники ленивы...»

Июльские любовники ленивы,
осокою изрезаны закаты,
и ступни ног покрыты желтой глиной.

Рукав закатан, ворот нараспашку —
в воротах окон завиднелись сваты...

Сосватан.

Горькая моя невеста
снимает серьги,
тянется ладонью...

О, забытье чесночного покоя!

Я – маленький, крупиночка среди
полночной толщи тел
на белизне материй.

Я – выбранный, все кончено,
и впредь мне —
вплетать в косицы рисовые зерна.

«Полозьями пресветел день...»

Полозьями пресветел день.
Забава легких пескарей,
в сарае бредень засыхает.

Насколько влажен был июль,
на взгляд меняющий погоду,
увидеть на исходе года
с разбега ртутного столбца.
Ты затерялся между нами
и подношение полотенц
отложишь, должен ты понять
уловки новых состояний.
Следишь морозную игру,
двойною рамой обескровлен,
над ним то клетоты, то кроны
растущих в землю сладких груш,
и повсеместно греет пламя.

Угомонился. Засыпает.
Снегирь рябиной дорожит
и, снег роняя, улетает.
Темнеет на дворе.
Тепло.

«Когда бы телом дорасти...»

Когда бы телом дорасти
до первовиденья поляны
весенней, где черны изъяны

твоих разборчивых шагов.
Когда бы выкрикнул чирок,
о чем стремится побег мгновенный.
Когда бы объясниться мог
с кольцом, проталиной, Вселенной.
Когда бы хоть одна душа
мне описала жизнь иную
правдивее, чем я хотел...

Но глушит голос вымпел ветра.

«Двойне сорок на крыше ветряной...»

Двойне сорок на крыше ветряной
смешно поговорить о Новом годе,
когда окрестная мелодия заводит
на пьяный сверк коронки золотой

(-бы заманить на угол слюдяной
и выложить намеки о погоде).

Куда там, смехом!
Снеговой удар
сорвет захлебный приступ о свободе...

Одна мелодия по кругу хороводит,
раскладку перьев метит на дома.

«Окно осенней рани. Клеть в миру...»

Окно осенней рани. Клеть в миру.
Фасон стекла выглаживает ветер,
и вакуум фальшивый ровно светит,
нарезан на махорочном дыму.

На красном небе комариной пыли
небесная полыснет домоседа
распахиваться первому по следу,
занозы собирать узора стали.

Кому ты служишь, ласковый мой друг?
Кого твои запястья одарили?
На красном небе комариной пыли
кружит древесный пепел, белый дух.

Где черный пульс Вселенского магнита
раскладывал слова для новой речи,
ты – вылитый асфальтом человеке —
вторично выверен для родового крика.

«Високосным разладом пульсаций настигнут. – Целуй...»

Високосным разладом пульсаций настигнут. – Целуй!
Обживают наделы прогнозы осознанной речи.
Пожелай на болезнь чистый холод и легкие свечи.
Цыц, погон, Бармалей! Серебряная пыль над столом.

Неоглядну житю обучивший сухую поземку
человечьи черты выбирает на пальцы и вкус.
Ниспошли горемыке отведасть расейский искус,
семигранице – центром, зажги вороватую рюмку.

Полотняный учебник недолго протянет, сгорит.
Телу бедному трижды по-мертвому выпадет вживе.
Исаакий, поведай о трубном Вселенском призыве...
Чу! Погона крыло наливается пеплом зари.

«О днях, ушедших в черный ход...»

О днях, ушедших в черный ход
пастил и дрессировки Марса,
о днях пленительного пьянства,
о днях медлительных чернил...

Пока на южных берегах
холера ела,
игра на лица
в доме чистых окон
заканчивала первый оборот.

Не время говорить,
но для примера
рука моя затеяла полет
строки высокой —
оказалась сфера,
в которой бултыхалась и дурела
Луна песчаная и сохнул звездолет...

Из горла вырос корень, лепестки
слоились на ветру, пеклась фанера.

Землечерпалка вырыла химеру,
освоилась, затеяла игру.
Я сам тому виной
поводья меры
не удержал
и отношения сгорели.
Лишь дым пошел
незыблемый глухой...

Но я за все отвечу головой,
раз Вам
мои манеры надоели.

«Обманулись...»

Обманулись:
это зеленое Солнце в смороде встает.
Церемонно
укропная клумба завяла.
Даже ворох хвои,
муравьиный оплот,
слаб на зубы
и только что знает —
играет.

Майские представления

1

Еще одна замешана, ушла
в громоотводы и протуберанцы.
Наручная, оплаченная танцем.
Заплечная, плаксива и пуста.

Фронтальная Весна несет убытки,
отваром пола свитая в клубок.
Подыгрывает, тычет локтем в бок,
тапер Мазоха, голубая плитка.

Фасон стекла выдерживает день,
упорствует, но эта карта бита...
Как ночь шумна и как она сердита,
подсказка женская, подутренняя лень.

2

Пересохла глаза.

Тротуарная слизь
гонит, копит следы
разворотом для духов.
Мы сегодня случайным вином обошлись,
ледоход потеплел
черной уткой, по слухам.

Наконец.

Скоро майские силы, развейся.
Приготовь огород, посиди на могиле.
Раз на раз не придется,
весеннее действо
снова крутит строку,
да играет на месте.

«Одиноче воды, по которой гулял Одиссей...»

Одиноче воды, по которой гулял Одиссей,
хрипа трав, по которым прошел иноверец,
эхо жизни взошло, эхо года упало, и вереск
родословной скамьи свил кормушку для
солнечных змей.

Одичала любовь, спит поступок у стен бездорожья.
Чище шаг и светлей шпили гласных на кальке болот.
Раскошелится дым, заневестится демон порожний...
Выхлоп Солнца —
слеза на стекле как даргинская пуля горит.

«Трезвости хрустальный позвонок...»

Трезвости хрустальный позвонок
чище Солнца и честнее яда.
Утро рукотворного наряда —
паутина беженки наяды —
дергает за шелковый звонок.

Горько мне гореть ручной звездой
и плывущим в иле отзываться.
Горько в равном плеске называться
плавным змеем и с тобой сравняться
плоскостью, где жнет телесный зной.

Горько, что опутан правотой

тополиных муравейников Гостилиц...

Сладко бесу свадебной порой.

«Теоретик стыда теорему дыхания учит до слез...»

Теоретик стыда теорему дыхания учит до слез.
Спит просторный мороз, обнажая зародыш метели.
И невинней Невы рухнет облако грудью на ост,
вскрыв повозку созвездий, вынув Деймос из красной
постели.

Как Набоков в Париже плавит кровь сестрорецкой листвы
и на память считает переливы дружка махаона,
так распластаны дни, что на первый надзорный вопрос
губы жмешь к ободку партитурного свода сирени.

В декабре

1

Я – внук Тимофея и Осипа.
Милостью мамы и пристава
ныне живущий пристойно, но пристани
не отыскавший, ссылаюсь на выступления
не алфавита, но крови и озими.

Сохнет сподвижник. (Глубинное облако
очи хоронит). Сказать ему нечего.
(Снег ошельмован картавостью вечера.
Тополь опасен). По этому случаю
я разрезаю не книгу, а яблоко.

И говорю, что ушедший не просится,
не отзовется и с нами не сбросится
ни на граммулю. Спи же без просыпа.
Он покукует вполне, как и водится.

Так умиряю себя. Беспросветная
явь охмуряет укорами панночки.
Лижется облако. Входит заветная,
просит на водочку, с водочки – в саночки.

2

Заледенел твой адрес, пилигрим.
И пресноводная глупеет вьюга

на подвиге художника-хирурга
(когда вуалью барственной обкурки
он хлещет пол за потолком твоим).

Вот, оглядевшись, не могу понять:
о чем же мне грохочет бормотуха?
Но рюмка Блока объяснила глухо,
и граждане с абонементным слухом
установились, без права одобрять.

А то какие-то Афины и Рязань.
Бесстыдство морга, горло мрачной лужи,
щекотка людоеда, слухи... То, что хуже...
Я пил свое. Вокруг серчала рвань.

Как водится – масштабно и на «ты».
Одной семьей стремясь напропалую...
«Дай я тебя, любезный, поцелую...
Ты у меня в крови, не отнимай персты...»

(Но это классика, а классика – липка).

3
Земля. Лопата. Вторник. Бунт синиц.
Снег Лансере. Крестьянский жуткий вечер...
Не выдам я тебя, мой подвенечный.
И на восходе самой тесной сечи,
в расцвете обнажающих зарниц,
я остужу чело твоею речью.

«Юра. October. Челюсти лета светло...»

Юра. October. Челюсти лета светло.
Гибкого холода светят конкретные знаки.
Воет осина и содрогает село...
Я это взял выяснением грима бумаги.

Я посижу у ворот каталажки Петра
рядом с тобой, но очнусь у окна на Европу.
Выбора нет и, поскольку решает судьба,
мне остается лишь малый рифмованный ропот.

Рявкнет подлодка подле умильной жены.
Нам ли не знать хромоту домотканья и скуку?
Стих остролиц и ложится на крае сумы.
Кроме нее, чем я в жизни предметной рискую?

Ответ на «Обмен» А. Кушнера

Согласно с темнотой уснула мать,
впитав укол от немоги случайной.
Луна поежилась, и гром патриархальный
настал и сжался, выплеснув на гладь
ветвистый жар часов Анаксимандра,
сцепленья ватные, привыкшие молчать.

Что платят сторожам в больших домах?
Поболе, чем охранникам в балете?
На прочие вопросы и на эти
мы ночь ухлопали на кухне между птах.
(Хотя была освоена мансарда,
но там томилось дерево в слезах.)

Ты выпит алфавитом, но вчерне.
Печататься в Отечестве неловко,
когда орудует подобная массовка,
и тело тянется к цикуте – не к струне.
(Но где-то «вне» шагнула саламандра
И обозначила признание вполне.)

Меняй тузов, квартиру и кабак,
материковый пласт и атлас судеб.
Нас щука близорукая рассудит,
в стекло зажатая, а ты – прямой рыбак,
примеривший достаточно скафандров,
хотя ты – чистый Овен, а не Рак.

Вот подоконник – трон твой и киот,
барчук брусничной кочки, данник чая.
Вот Монк, что по безумию скучая,
в дом уходил, где замкнутость живет,
где просит слова дикая Кассандра...

Монк на стене. В округе – гололед.
И негде умереть, мой Александр.

Сны

1

Час Быка наступает, не пытайся уснуть.
Все снотворные совы тебе не помогут.
Это тени Памира ложатся на грудь,

это млеет земля у порога.

Бес зазнался, балует асфальтом солдат,
твоему ли позору давать объяснение?
Слиплись звезды и сойке, покинувшей сад,
что сказать в утешенье?

2

Через месяц приснится Америка, в ней
двое в белых плащах и ребенок-воитель.
Кто нам встречу зачтет и проснется, верней,
чем сведет нас с ума белой ночи правитель?

Я живу здесь за Вас и прощаю себе
лишний жест и питье на границе канала.
Я живу здесь от Вас, и, отмерив семь бед,
я готов на ответ для райка и для залы.

3

Враг врага моего, твой разумен ли хлеб?
И во что ты играешь на этой лужайке?
Ты загонишь козу в опорожненный хлев
и раскрутишь свой сон на отцовской фуфайке.

Ты есть жизнь среди жизни, которой бы жить...
(В Поднебесной, как в бане архангельской – глухо.)
Если терпят тебя, то за свойство любить
за пределами зренья и знанья, и слуха.

4

Чем мы располагаем? Все – слова.
Слова и сны, и между ними – эхо,
и сольный смех, и тяжести, и ухо
Держителя, что милости ковал.

– Так что же я на чистых этих снах,
Отца встречая, трепещу с ответом?..
Что делаю на этом свете?
– Этом?

Возвращение в лето

1

Безжалостная ласточка заката
капризничает, рвется за ограду
оравы облачной, зашедшей на постой.
Не огорчай, прижми, крылом укрой.

Я видел сны, прекрасные порой,
но клятые марали суть полета,
не ведая, что он не той породы,
что мы привыкли видеть под горой.

А за горой реактор жертву ждет,
и царь-девица в пасть ему идет,
чтобы спасти от глада поколения
детей, не знавших правды и печали,
которым звери пели и качали
их люльки в розах, не знававших тленья.

2

Влажно еще, госпожа, в приближенных лесах.
(Переведи мне из хроник о кошке и мышке.)
Влаги паучье скольжение уместно в слезах,
на территории лета не хочется слышать
плеска и рева великих небесных коров.
(Марфе для действия выдана роза ветров.)

Полдень. На пастбища памяти роза шатров
вышла сережки просить на краю ойкумены.
Ополоумела, что ли? Дать ей шаров
с елки берлинской, отмыть и казнить за измену.
(Розам негоже шататься по значным краям
это советует деве и деда Хайям.)

Вечер блестящей грозы накормил пауков.
Ярче следы госпожи на траве безответной.
Вязы молчат, и до снятия их париков
переведи мне из хроник о переписке секретной
кошки корявой соседа, вкусившего лунный оскал,
с мышью ворчливой, что грел на груди Ганнибал.

3

Отпуск из воска, там электричка молчит,
и надрываются пчелы, вися над малиной.
Марки мусоля, на клумбе ребенок ворчит,
праведный ястреб ласкает небесную глину.
Я обретаю ее, если в поле закрою глаза
и зависаю над липой, полной прохладного меда.
Дышит слеза, отзывается в море гроза,
шепот медянок с обочины Божьего следа.

Реалии

Леве Васильеву

Полынья. Не помню имени
семени на дне поляны,
опечаленного пламени
вознесенные изъяны
верескова рода-племени.

Поводырь махорки матерной
из лукошка комья пряжи
выстроил на скверной скатерти,
среди них котенок ляжет
пульсом нежности и памяти.

Ветер деда за горою
разбирает лист на кладбище.
Нищете глаза закрою:
не смотри на двор и пастбище —
горе местного покроя.

Дешевеет дождик. В иной
смех шипит на перекрестке.
Ты перекрестись и выпей
ужас тихий из наперстка —
грех Михнова перед Веней.

«У тумана весел нет...»

У тумана весел нет.
Дверь на кончике проспекта
Запелената в жилет.
Резким дворником пропета.

У реки ступеней нет.
Небо пляжа оголяет
Нераскрашенный рассвет.
У вдовы собака лает.

Я верну тебя горе
Македонского замеса.
Где ягнята в серебре
Колокольцев от Рамзеса.

Где почтенная трава
На обедню точит пальцы
У раскованного рва
Засыпают погорельцы.

Ты да я и тень в тетрадь.
Тень фонтана подземелья...
Местью иволги размять
Песен рисовые комья.

Проба-2

Град Сиверской терзает сучий хвост
чванливой туче, жрущей Ломоносов.
У тамошних матросов нет вопросов,
они идут построчно на погост,
как с корабля на бал без папиросы.

Жена ушла в сельпо за абрикосом.
Тимура телка, Пиррова вдова.
Она была по своему права,
когда шпыняла снегом эскимосов.

Твой гопник на обоях ловит розу,
где не растет народная трава,
витают лебедь в трепете морозов.

Такие, мой дружок, метаморфозы
распахивает устная молва,

на чашку дуя и роняя слезы.

«Пройдя к подруге несуразной...»

Пройдя к подруге несуразной
На кровный чай
Блуждай по «списку безобразну»
И примечай

Пращу прямого вдохновенья
Руки прямой
Над издыхающим мгновеньем
Вины земной

Владея Меккой этикета

Себе ровня
Местоимение поэта
Пером храня

На ровной мгле самозабвенья
Скрепил настрой
Иного зренья и томленье
Струны иной

И властен милостью страданья
Тебя понять
Не затвердить его молчанья
Не разгадать

«Разыщи себя в камаринском стекле...»

Разыщи себя в камаринском стекле
Пузырьком проточным стеклоправа...
Велика для четверга оправы
И звезда щебечет на игле

Жесткой прачки зимнего помола
Вынесшей неделю как струю
Талой жизни. Для нее в раю
Жжется место. Видимо посмела

Крепкая забрать себя на грудь
Невозможным маятникам веры...
Много ветра прежнего размера
Крошится и валится на путь

И на брови... Я тебя не выдам
Не проснусь. Не вытолкну платок
Неразрывный. Ясен ястребок
На ковре отца выдавшем виды

«Гуще свистящих в ветвях...»

«Говорю Вам, что...»

Гуще свистящих в ветвях
Перьев опрятных мазки
Сыгранные в сточных полях
Где паровозов свистки
Тужатся в лужах. Нерях

Перебери у тоски.
Цель еще можно спасти
Вырастив снасти.

Цель перебрось за висок
Свыше накормится топь
Рвотным дождем. Завиток
Трона и грома на лоб
Конюха ляжет. Высок
Телом хозяина гроб
Выше хозяина – рябь
Взгляды уверенных рыб.

Конюх, делил ли сургуч?
Выдох и поступь полка
Сверят портфели. Кивач
Не напоил облака
Мох у копыта колюч
Кровь и олень не алкал
Конюх, сорвется река
И голышом катыша...

Не отрываясь на снег
Не запинаясь на грех
Бык говорите пег?
Груб говорите мех?
Люден и красен век
Черен у края смех
Скошен и влажен текст

Олеся Николаева Стихотворения

Олеся Николаева – поэт, прозаик, эссеист, профессор Литературного института им. Горького. Автор более пятидесяти книг стихов, прозы и эссеистики. Лауреат многих литературных премий, в том числе – национальной премии «Поэт», премии им. Бориса Пастернака, и Патриаршей литературной премии. Стихи, проза и эссеистика переводились на многие языки мира, отдельные книги были переведены на французский, испанский, английский, китайский, греческий, румынский и болгарский языки. Живёт в Переделкине.

Антонов

Мне жаль Антонова! Нет-нет,
он жив, а что пропал – едва ли:
его на станции «Рассвет»
и в «Толстопальцево» видали.
А что изганный – да! На дверь
ему указано: на днище,
ведь и казнённое теперь
его отобрано жилище.

За что? На то был свой резон:
он крепко пил! Какие бредни?:
Доцент свалился на газон,
хватая куст, как шанс последний...
Какие лекции? При чём
желанье, чтобы – без огласок,
когда сам лектор вовлечён
в ристалища теней и масок?
В гуденье рифм, в борьбу идей...
Он видит в родине чужбину:
там хам грядет, а там халдей
затаптывает жемчуг в глину.

...А я ведь помню век такой,
когда меж снобов и долдонов
изящный, с легкою рукой,
по институту шёл Антонов.

И ворот свежий, и лица
простая лепка так опрятна,
и вкрапленная хрипотца
в негромкий голос – деликатна.
Стихи писал. Молва плела:
«мертворожденные», что кокон.
Литературные дела
все побоку, всё мимо окон.

Сколь многие поймут его!
Во тьме, стирающей различья,
так просто обрести родство:
что птичья кость, что жила бычья!
Идти туда, где гуще мгла,
где все свои за плотной тенью,
ждать отзвука, искать тепла,
и петь хвалу самозабвенью!

Так где искать его? А у
ворон не спросишь: «Где Антонов?»
Иди, кричи свои «ау»
среди бомжатников и схронов.
Выходит, муравей в овсе
заметней человека в силе?

Притом – его любили все!
Мы все Антонова любили!

Прощённое воскресенье

В России Хронос побеждён,
к пространству пригвождён:
с погодой слит, с рельефом свит
и звёздами блазнит.

Здесь Ленин Сталина дерёт
за рыжие усы.
Здесь Сталин Ленина ведёт.
схвативши под уздцы.

И птица Сирин здесь поёт
невиданной красы.
И в недрах – Древний Змей живёт,
и в кузнях – кузнецы.

Башмачкин мокрый снег жуёт,
Тряпичкин жжёт чубук.
И Клячкин открывает рот,
да вырубили звук.

Все рядом: там – приказчик пьян.
Ямщик попал в буран.
Святая Ольга жжёт древлян,
бьёт заяц в барабан.

Бомбист таскает динамит,
язык ломает фрик,
чело Державина томит
напудренный парик.

И стелятся туман и дым,
и Врангель входит в Крым.
Прощается славянка с ним,
а я останусь с ним.

Эпох сливаются слои,
хоть в славе, хоть в крови,
где все чужие – как свои,
пускай и визави.

Глядит зелёная звезда,
Земля пред ней, что взвесь,
и говорит, что навсегда
мы вместе будем здесь!

БЫЛЬ

Как позвал Илья-Пророк Угодника Николая
обойти нашу землю, пройти полями-лугами.
И пустились в путь, ничего здесь не узнавая,
невесёлыми ступали ногами.

Наконец встретили дурачка на поляне.
Решили порасспросить о мире, о человеках:
– А есть ещё наши люди? А где крестьяне?
А где пушные звери в лесах?
Где рыба в реках?

Где пахари и косари, что встают до свету?
Есть ли ещё мужики в этом народе?
Отвечает им дурачок:
– У нас теперь этого нету:
ни мужчин, ни женщин. Каждый одевается по погоде.

Все теперь ровня – жена ли, муж ли: у всех застёжка на брюхе.
Мужики рожают, бабы платят, а дети
отрываются и балдеют, а старики и старухи
сидят в фейсбуке и в интернете.

– Ну а молитва? А песни свои поются? —
спрашивают странники.
Отвечает им бедолага:

– Да песни как раз найдутся,
хотя бы вот эта, где «м-м» и где «джага-джага».

И пошли Илья-Пророк со святым Угодником – Божьи птицы,
головами качают, услышанное никак не свяжут.

И вдруг засмеялись оба:

– Экие небылицы!

Кто у дураков-то спрашивает? Они и не то нам понарасскажут!

А дурачок собрал убогих, сирых и малых
и пересказывает им подробности этой сцены:

– Они думали, я не знаю... Но я узнал их!

Ждут нас счастливые перемены!

Вертеп

Провинциальная гостиница:

там все – торговец, мытарь, нелюдь.

Люд пришлый не спешит подвинуться,
чтоб странников впустила челядь.

У всех – сердца до верха заняты:
желудочки, мешки предсердья,
забиты уши, очи залиты,
и сжаты губы от усердья.

Битком набито всё и заперто.

«Нет мест!» – из-за дверей хозяин.

Осёл почти свалился замертво.

Иосиф выше сил измаян.

Мария скрылась светлоликая
под плотным тёмным покрывалом.

И на пустыню безъязыкое
селенье облик поменяло...

Моё же сердце – место дикое:

здесь сумрачно, здесь ветры злее,
здесь бродит зверь, ночами рыкая,
здесь привидения и змеи.

Но путники изнеможённые
тут опускаются на камни,
под эти своды обнажённые.

Как принимать мне их? Куда мне?

...О, сердце! Ты – вертеп таинственный,
срываешься на верхних нотах,
когда рождается Единственный
Младенец там, в твоих темнотах!

И что до ангельского пения,
звезды, волхвов и волхованья,
когда Младенца дуновение
коснулось твоего дыханья...

Лютер

Девяносто пять тезисов доктора Лютера – смута
заразительна.

Высокомерно вступает в права
незаконный наследник и бастард. И пялится люто,
шевелия волосами, отрубленная голова.

Вся Европа в бреду. Рвутся швы. Реки бьются в падучей.
В Ватикане изжога, и тянет, ему вопреки,
Ветхий Днями Свои узловатые пальцы из тучи,
но Адам отвечает капризным изгибом руки.

И повсюду уже расползлась эта весть, эта повесть, —
говоришь «человек», а находишь надрыв и разлом:
это плоти диктат, это разума спесь, это помесь
павиана с павлином, а то и косули с козлом...

Доктор Лютер, когда б хоть во сне вы предвидеть могли бы,
ядовитые гвозди вбивая в церковный каркас,
как ползут и ползут мрачнолицые парни Магриба:
шесть веков они ждали,
и время их вышло на вас!

Встретит весь Виттенберг их с улыбкою, пивом и миром,
и в немом изумленье воззрятся на этот комплот
европейские ангелы, плотно увитые жиром:
этот – с видом рантье и с лицом бакалейщика – тот.

...Удивительно ль, что мы тут ищем подкопы, подвохи,
дыры в жизненной ткани, сучок в европейском глазу,
гвоздь в двери виттенбергской, рычаг, за который эпохи
мрут, как мухи, и тонут в тазу.

Верб

Помню, как остывали
звёзды в реке ли, в чане,
выли, на помощь звали
бабы-односельчане.

Как кричала неясуть
в полночь, когда счастливца
здесь забивали насмерть
два бугая-ревнивца.

Кости ломали, жилы
рвали, аж кровь кипела —
за молодые силы,
за красивое тело.

За лицо – без изъяна,
статный стан без ущерба,
где одна середь бурьяна
лишь молодая верба.

За глаза – без порока,
кожу – белее мела.
И засохла до срока
верба да почернела.

Словно смерть человечью
взяв себе, в день воскресный
молодца – вербной речью,
силой своей древесной,

ветками оплела,
листьями обложила,
на ноги подняла,
соками опоила...

Бабы о вербе той,
пьяны, хмельны ль, тверёзы,
песни слагают, —
пой
с ними,
глота слёзы...

Народная песня

Не ругай меня, жена,
что я ёрш, что я ёж.
У кого внутри война,
у того снаружи – нож.
На ночной наждак луна
проливает чистый шёлк.
Не кори меня, жена,

что я вол, что я волк.

Волчьей ягодой полна
жизнь колючая – колись.
Не стыди меня, жена,
что я лось, что я рысь.
В меня речка влюблена,
понимает меня ель.
Не ревнуй меня, жена,
что я лис, что я – лель.

То я вепрь, а то я выпь, —
со своей землёю схож:
звёзды в небе – моя сыпь,
зыбь на море – моя дрожь.
Как напьёшься допьяна,
мир припрячешь в кулаке,
глядь – а в нём твоя страна:
нос хмельной и в табаке.

Пляшет, плачет старина,
шарят тени по кривой:
не качай им в лад, жена,
грозной птичьей головой.
Всё, что видится извне —
возникает изнутри...

Тише! О своей войне
никому не говори!

Чуждый огонь

Чем холоднее и пустынное на сердце – тем верней навстречу
и желтоглазое уныние, и косоротое злоречье...
Идут, хромцы, сосредоточенно, угрюмы и неутомимы,
то рощами, то вдоль обочины, на вид – простые пилигримы.
Но в ком заметят червоточины, тех окружают, обнуляют,
и вид на жительство просроченный слюной на темя налепляют.

...Я знала тех, кто долго мыкался: то замирал кариатидой,
то лес валил, то в стены тыкался и кто не справился с обидой.
И стал кормить в себе томление, пока сквозь мысленную стужу
отчаянья и озлобления огонь не вырвался наружу.
Он тлел в подполье, злые жалобы шипели, лопаюсь под спудом,
чтоб вспыхнуть вдруг: пора настала бы Надава вспомнить с
Авиудом.

Как те страницы ни пролистывай, как голову ни прячь в тумане,
всё видишь их огонь неистовый, самих же попавший в стане.
...О, как бы жить, себя не мучая: ни власти не желать, ни славы,
изъять из сердца сны горючие и жароплавкие составы.
Из облака сине-зеленого торчат чадающие затылки.
Боюсь, по запаху палёного Творец найдет нас у коптилки.

Грустная история

Школьницей, девицей, птицей
нездешнею,
как ты сияла улыбкой безгрешною! —
Так и осталась в том давнем году —
белою лилией в чёрном саду.

Что же потом с тобой сделалось? —
ржавая
музыка эта, ухмылка лукавая...
Так и порхала у всех на виду
чёрною бабочкой в белом саду.

Ты ли сама или время проклятое?
Тучная, траченная и помятая
встала и загородила звезду
ягодой волчьей в чёрном саду...

Так увядает и никнет несчастная
грешная плоть, небесам не при
частная,
чая очнуться и грезя в бреду
белою лилией в белом саду.

Так – неопознанную, безымянную —
похоронили с рогожею рваною,
перекрестили тайком на ходу...
Что-то да вырастет снова в саду.

Осенний псалом

Осенью говорят деревья, от куста передают кусту:
оставь себе лишь себя, оставь себе простоту,
готовься к бедности, к сирости, к холодам,
к Рождественскому посту...
Осыпаются листья, отрываются пуговицы, ветер к ночи все злее.
Все у тебя отберут – роскошь, молодость, красоту,

а кураж и сама отдай, не жалея.

Нитки висят, лохмотья, прорехи в кроне, дыра
прохудилась в роще, густоволосой еще вчера,
и не надейся: готовься, уже пора —
к скудости, к безголосым птицам, на руках цыпки.
Только б концы с концами свести! Иней уже с утра.
Да, но и бедность тоже умеет играть на скрипке!
Так говорят деревья, так говорят кусты:
есть и у нас псалмы, есть и у нас персты.
И стоят посреди зимы, как в пустынном зале.
Музыка чуть слышна, и рифмы совсем просты:
вот, мы протягиваем вам руки — смотрите, они пусты,
всё мы отдали вам и ничего не взяли!

На смерть друга

С. С.

Земля скорбит и с ветром на паях
поёт прощание шмелям и черным розам
да всхлипнет вдруг...
А у неё в друзьях
лишь меланхолия с анабиозом.

И заразителен печальный этот вздох.
День выдохся и сдулся, двинногровый.
Конвой устал, и спёкся скоморох,
и сдался муравей трудолюбивый.

И если даже знать, что мир-труд-май,
что жизнь — борьба на рубеже эпохи,
ты страсть к победе запихнёшь в сарай,
потратишь дни на ахи и на охи.

Ты бродишь в снах, клубишься, как туман,
и время вспять пытаешься подвинуть.
Спроси: зачем земля себе в карман
кладёт людей и забывает вынуть?

Музыка

Это сценки детства: солнце воду пьёт, —
папа молодой, берега родные,
птичка под моим окошком гнёздышко для деток вьёт...

Все картинки, все переводные.
Кто-то налепил их – ляп! – на сердце мне:
перевёл, потёр, снял лишнее, и в цвете
вся я в тех картиночках: в звёздах и луне.
Музыка застыла в золотой карете.

На весу в балете. Звук прилип к рожку.
Дверью в тёмный шкаф прикрыты злые вести.
А в лесу лисица своему божку
лестницу сплетает из волшбы и лести.

И когда средь мира яставляю зонд,
как подлюдка, высмотреть, место ль – не гнилое? —
из картинок этих мне раскрывает зонт
небо с мутным зеркальцем: вечное былое.

Я хожу и вслушиваюсь, обращаюсь вспять
и почти заглядываю за ограду рая:
вдруг оттуда музыка нам начнёт звучать,
словно струны, нас перебирая?

«Бывает, когда лишь да-да, нет-нет...»

Бывает, когда лишь да-да, нет-нет,
и радость поёт в тиши,
и разворачивается белый свет
метафорою души.

И дышит ямбом морской прибой,
и всё совпадает – аж
со словом – смысл, бытие – с судьбой,
прообраз и персонаж.

Ведь именно так и задуман куст,
и точно такой – гора.
...И тут появляется некий хлюст
и в небо кричит: «Не ндра!»

Интервью с Олесей Николаевой Беседу вела Надежда Кондакова

Олеся, не будем скрывать, что мы знакомы лет сорок, еще с литинститутских времен, и уже о многом успели поговорить в жизни. Конечно, больше всего самого литератора – в его текстах (в стихах и прозе), а не в комментариях к ним, каковыми являются интервью и всякого рода авторские предисловия-послесловия.

Однако именно сейчас, при первой большой публикации твоих стихов в журнале «Плавучий мост, мне захотелось представить тебя нашим читателям как раз с «комментариями», – в ретроспективе, с неким «подглядыванием» в творческую лабораторию, не запертую на замок.

Н.К. Итак, пройден большой литературный путь – с множеством книг и читателей, с откликами и рецензиями профессионалов, с премиями, с профессорским званием, наконец, с учениками, которых надо было воспитать так, «чтоб было, у кого потом учиться» (как написал твой литинститутский «учитель» – Евгений Винокуров)

Что из этого было в юношеских мечтаниях? Что сложилось иначе, чем хотелось? И «работает» ли сегодня эта знаменитая формула Винокурова – «художник-ученик»?

О.Н. – Да, честно говоря, в юности я и не предполагала, и не мечтала дожить до нынешних лет: подобно Ивану Карамазову, я думала, что «кубок жизни» опорожню годам к тридцати трем, ну тридцати семи... А о дальнейшем и не думала, ничего не загадывала, жила очень насыщенной эмоциональной и, смею сказать, творческой жизнью, с пылом, с жадным любопытством к ее героям, событиям, сюжетам, деталям, оттенкам. Сила «интенсивности жизни» (по Константину Леонтьеву) была невероятной, мне было жалко спать! Ну, и к сорока годам я очень истощилась и истончилась.

Но оказалось, что в этом состоянии приоткрываются какие-то новые органы познания, обостряется интуиция... И поэтому сейчас с удивлением разглядываю те годы, которые я прожила «сверх» ожидаемого, и, конечно, моя жизнь была бы куда незначительнее без них. Считаю, что Господь дал мне больше, чем я сама для себя хотела. Как у Пастернака: «Ты больше, чем просят, даешь».

Что касается моей учебы в Литературном институте в семинаре у Евгения Винокурова, то это, безусловно, была отличная «школа»: я бы назвала ее «школой перфекционизма». Евгений Михайлович терпеть не мог никакого неряшества в стихах, от неточной рифмы его коробило, как и от расплывчатой мысли, не нашедшей точных слов и образов для своего воплощения.

Помню, как в «Литературной газете» появилась обзорная статья, в которой нас с поэтом Виктором Гофманом иронически называли «отличниками стиха». Но в то время для меня лично это была похвала. Я работала над художественной «выделкой» стихотворения, над его композицией – так, чтобы в результате получилось художественное изделие.

Ты выше ценишь не изделие,
а ткань, состав и вещество:
прочнее камня, легче гелия
и тоньше света самого.
А я – представь – любуюсь формой,
такой симфонией чернил,
как будто с партитурой горнею
художник вымысел сроднил.

И Винокуров поощрял именно это. Его самого по праву называют «мастером художественной детали», и он всегда акцентировал на этом при разборе стихов наших «семинаристов». Кроме того, у него был замечательный поэтический слух и вкус: он умел находить прекрасные строчки даже среди прочей многословной чепухи. Он действительно любил поэзию и поэтов. Поэтому – да, действительно, он – мой учитель или, вернее, один из них. Это потом уже я стала в стихах «юродствовать», искать собственную интонацию, свой музыкальный строй...

Н.К. Проза и поэзия – как они соотношены в твоей творческой жизни? Идут ли рука об руку, или разнесены во времени? Когда пишутся повести и рассказы, когда «приходят» стихи? Есть ли какая-то закономерность в этом, или процесс спонтанный, не поддающийся вычислению и регламентированию?

О.Н. – Очень грубо говоря, у меня задействованы разные органы чувств, пишу ли я стихи или прозу: стихи – скорее, слух, я что-то слышу, какую-то музыкальную фразу, а проза – зрение: порой это чистое визионерство, когда мои персонажи являются мне вживую и сами начинают на моих изумленных глазах разворачивать сюжет.

Подчас это приходит совсем не вовремя: помню, как посреди генеральной уборки и разгрома я вдруг, сдвинув наваленные на столе книги и освободив себе уголок, стала писать стихотворение, которое просто заставило меня это сделать. И с удивлением наблюдала, что получается, настолько это было неожиданно. Или буквально на коленке, сидя в гостях у друзей, написала целый цикл стихов: одно за другим.

Так и проза вдруг загораживает собой весь мир и требует себя написать, притом иногда в самый неподходящий для этого момент жизни, когда куча других забот и обязательств и вообще нет на это времени. Так что все это рождается из хаоса, который начинает переливаться через край и требует для себя формы, стремится к логосу. Иначе он грозит закрутить меня и потопить в своих глубинах.

Н.К. Бывало ли когда в твоей жизни творческое настроение, которое можно выразить словами Блока: «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда»? И если да, то как из него выходила?

О.Н. – Конечно, такое бывало и не раз. Это очень мучительное состояние, которое можно сравнить с чувством богооставленности. Особенно мучительно я переживала это в юности, когда у меня не было еще опыта прохождения через пустыню. Когда кажется, что вовеки уже этот творческий воодушевление к тебе не вернется и ты обречен влачиться по праху земному. Краски померкли, на глазах пелена, диапазон слышимых звуков сузился, и сердце не горит.

Но сейчас я претерпеваю эту полосу жизни не столь болезненно: путник верит, что ощущение его внутренней истощенности вскоре будет с избытком восполнено множеством открытий. Его обнищавшее сердце станет отзывчивее на явления «тонкого мира», а глубине безмолвия утонут привычные слова и затертые выражения, чтобы дать созреть новым словесным образам.

Н.К. Мне кажется, что Олеся Николаева – поэт скрытой и хорошо замаскированной иронии, что в принципе не свойственно так называемой «женской поэзии». Так есть ли она, эта «женская поэзия» вообще? Или при столкновении с нею всякий раз на ум приходит строфа Ахматовой: «Я научила женщин говорить, О Боже, как их замолчать заставить?!»

О.Н. – В словах Анны Андреевны чувствуется некоторое кокетство, ведь многие ее стихи написаны мощной мужской рукой. И вот все это копошение вокруг названий «поэт», «поэтесса», которое она затеяла, мне кажется, слишком мелким. Применительно к женщинам-поэтам слово «поэтесса» вовсе не звучит для меня уничижительно, а вполне естественно, как скажем, «актриса», «артистка», «балерина», «пианистка» или «художница», если речь о женщинах-профессионалах.

Тем не менее, некие типично женские черты в поэзии женщин, безусловно, есть. В частности, это сгущение энергии вокруг чувств, обращенных к предмету своих воздыханий, тяга к

«мужскому». К сожалению или к счастью, гендерные вопросы меня никогда не интересовали, это не было моей проблемой. Думаю, если бы я это специально анализировала, я могла бы ответить более конкретно.

Н.К. Наше поколение росло под крылом полузапретного «Серебряного века», «литературы в отсутствии», как сказала Марина Кудимова. Что для тебя значит этот период в целом? И было ли когда его переосмысление? Менялось ли отношение к его отдельным персонажам или ко всей этой литературной эпохе? Если да, то когда и почему. Если нет, то тоже почему?

О.Н. – «Серебряный век» – век обольщений и наитий, мистификаций и откровений, игры и молитвы. Это – восторг от ощущения «бездны на краю» и заглядывания в эту бездну. В конце концов, эта бездна разверзлась и, по слову Ницше, сама заглянула каждому в глаза.

Конечно, я жила атмосферой и эстетикой этого века и в отрочестве, и в юности, когда посреди зрелой советской власти был так велик соблазн бегства в его мистические вихри и декадентские странности. Потом, проанализировав его духовные основания, я стала относиться к нему более сдержанно, хотя поэзию по-прежнему люблю: Блок, Гумилев, Мандельштам, Георгий Иванов, Ходасевич, Пастернак, Ахматова, Цветаева – как без них?

Н.К. Что для тебя главное в профессии писателя? И без чего «нет поэта»?

О.Н. – Три главные вещи: прирожденный талант, воля к писательству и судьба. Могу еще так пояснить: душа (Психея) должна подружиться, войти в унисон с талантом и призванием (Музой), чтобы они взаимно не противоречили, а, напротив, поддерживали друг друга. Когда ослабевает душа в жизненных мытарствах, на помощь ей приходит преобразительница жизни – Муза. Когда Муза выдыхается, душа вдыхает в нее свои жизненные силы. Как-то так. Этот путь их совместного странствия определяет судьбу.

А если они находятся в раздрыг, если Психея паразитирует на Музе (это бывает когда человек делает из своего таланта средство для достижения чего-то другого, пьедестал для своего «эго»), или когда Муза начинает тратить Психею исключительно на себя, требуя от нее идолопоклонского служения себе, ущемляя ее свободу и пуская в свою «топку» (это когда все душевные силы, отпущенные на решение разнообразных бытийных задач, тратятся исключительно на обслуживание своего обожествляемого литературного дара, принося ему в жертву жизнь), то и судьба начинает противиться этому. Очень часто, к сожалению, встречалась с таким явлением, как «несостоявшийся поэт»: то есть, человек, наделанный талантом, но не сумевший им распорядиться: либо растративший его на ерунду, либо иссушивший и умертвивший своим идолопоклонством.

Н.К. Много ли можно простить человеку за «талант»? Скажем, некоторые действительно талантливые люди – неуживчивы, обидчивы, амбициозны, не толерантны, склонны «говорить правду-матку», как они ее понимают. Распространяется ли в этом случае твое отношение к человеку на отношение к его творчеству?

О.Н. – Все-таки это разные вещи. Дурной характер или скверная репутация талантливого человека может вызывать у меня негативные чувства, вплоть до брезгливости, но не мешает мне любить то, что он делает талантливо. Это еще одно подтверждение того, что человек не является источником собственного таланта, а талант не принадлежит исключительно его носителю. Мне, например, отвратителен Блок 17-ого года, когда он выхлопотал себе место службы в ЧК Временного Правительства и со сладострастием наблюдал и комментировал допросы, на которые ходил порой и добровольно, без служебной надобности. Но как поэта я его, тем не менее, очень люблю. И все же талант не является индульгенцией, искупающей свинство, распутство и подлость.

Н.К. Недавно одна дама рассказала мне о «фестивале православной поэзии». Как поэт православного мироощущения, как матушка, жена священника, скажи, нужны ли такие специальные фестивали? И не сужает ли «тематическое прочтение» эту проблему сущностно?

О.Н. – Я понимаю, что тут имеется в виду под «православной темой», но я бы поостереглась квалифицировать поэзию по этому принципу. Русская поэзия, классика, по преимуществу, – православная по своему духу, даже если в стихах не упоминаются ни евангельские события, ни атрибуты церковности. Здесь самое ценное – то, что возвышает и преображает душу, изымает ее из детерминизма «мира сего» и «века сего» и приближает к Творцу, который и Сам – Поэт (по-гречески «творец» – «поэτος» или «пиитос»). В Символе Веры так по-гречески и написано: «Верую в Бога Отца Вседержителя, Поэта неба и земли». Все-таки, «Дух животворит», а плоть (это всё в данном случае – приметы церковного обихода – О.Н.) не пользуется нимало».

Н.К. Сегодня многие пытаются вычеркнуть весь «советский период» из отечественной поэзии, или сильно уменьшить его значение, приписывая ему все грехи разом – от обычного конформизма до «служения дьяволу». Что ты думаешь по этому поводу? Каких поэтов этого периода ты ни за что не отдашь «вычеркивателям»?

О.Н. – Честно говоря, не люблю такой идеологический и прагматический подход к поэзии. «Советский период» – это все-таки и Маяковский, и Есенин, и Пастернак, и Мандельштам, и Хармс, и Заболоцкий, и Ахматова. Да и Бродский. И далее – множество замечательных поэтов, всех и не перечислить: Ярослав Смеляков, Семен Кирсанов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Александр Межиров, Юрий Кузнецов, Борис Чичибабин, Евгений Рейн, Александр Кушнер, Олег Чухонцев и т. д. (перечень можно продолжать и продолжать). Никого не хочу вычеркивать. Просто жалею, что многое из этого осталось не прочитанным в нынешнем веке из-за «партийных» предрассудков. По сути, это большевистский подход к культуре и к поэзии, в частности: тогда тоже партийно-пролетарским сознанием отвергалась вся предшествующая культура как «буржуазная». Мне непонятно и обидно, когда читатели поэзии начинают требовать и искать чего-то «нового» в то время, как они не знают, даже и не пробовали «старого». А ведь в этом как бы «старом» есть очень много той новизны, которую еще неизвестно, откроют ли заново молодые поэты и читатели. Во всяком случае, «дыр бул щир убе-щур скум вы со бур л эз», более чем столетней давности, пока никто не переплюнул.

Н.К. И в заключение – коротенький литературный «блиц»:

Пушкин или Лермонтов?
Толстой или Достоевский?
Тютчев или Фет?
Блок или Гумилев?
Ахматова или Цветаева?

О.Н. – О, нет, невозможно выбирать! Мне тут нужны все, вся полнота русской литературы: и Державин, и Баратынский, и Некрасов, и Гоголь, и Чехов, и Лесков, и Гончаров, и Мельников-Печерский, и все-все-все... В принципе, русская литература уже дает то содержание, которым можно жить.

Этим можно жить и выжить,
вырасти из ничего
и по сердцу имя вышить —
Имя Бога Своего.

Примечание:

Надежда Васильевна Кондакова – поэт, переводчик, редактор. Автор многих книг и публикаций. Живет в Переделкине и Болгарии.

Дельта

Владимир Тучков

Их было семеро

Родился в 1949 г. В 1972 г. окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Работал программистом и схемотехником. В 1990 году перешел в журналистику. Проза и стихи публиковались в коллективных сборниках, альманахах и периодических изданиях в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух поэтических сборников и двенадцати книг прозы. Член Союза российских писателей и Всемирного ПЕН-клуба.

Их было семеро

В 1962 году в Советском Союзе
впервые в истории
показали американский вестерн.
То была «Великолепная семерка»,
у которой был оглушительный успех.
Ну, это как выпить стакан пепси-колы
на опять же первой в истории американской выставке в Москве
1959 года.
Так всегда бывает,
когда с высот кремлевского холма
говорят народу про что-нибудь —
это яд.
Собственно, и про «Семерку» было произнесено нечто подобное.
Устами премьера Хрущева.
«Я смотрел картину „Великолепная семерка“, — сказал Никита
Сергеевич американскому журналисту. — Артисты, занятые в ней,
прекрасно играют. Мы выпустили её на экран и получили за это
много упреков. Кинофильм плохо воздействует на воспитание
молодежи. У вас, американцев, сплошь и рядом на экранах идут
такие кинофильмы, где бьют друг друга в лицо, истязают, убивают
людей, в фильмах много извращенного. У вас это считается
интересным. У нас же проповедование подобных явлений
считается
вредным».
В одном тут Хрущев абсолютно прав.
Фильм, действительно, воздействовал на молодежь.
Сильно воздействовал.
Правда, вопреки его прогнозам,
в среде советской молодежи не прибавилось
ни мордобоя,

ни истязаний,
ни убийств,
ни извращений.
Да и воздействие,
мощное воздействие,
было,
строго говоря,
не на молодежь,
а,
как теперь принято выражаться
заимствованным в Америке словом,
на тинейджеров.
А по-нашему – на подростков.
К коим и я в относился в то время.
То есть от одиннадцатилетней мелюзги
до выпускников средней школы.

На нравственную составляющую картины нам было,
разумеется,
глубоко наплевать.
То есть наплевать на мексиканских крестьян,
которых грабят бандиты Калверы.
Мы-то, естественно, прекрасно понимали,
что этих скучных крестьян
пришлось засунуть в фильм
по идеологическим соображениям.
Чтобы показать благородство и справедливость
граждан США, рискующих жизнью,
ради торжества справедливости.
Уже тогда, в подгловатовом возрасте,
мы прекрасно понимали,
что без идеологии в кино никак нельзя.
Запредельное восхищение у нас вызывали
семеро,
великолепно обшитые голливудскими костюмерами,
и снабженные голливудскими бутафорами
самым разнообразным оружием,
изрыгающим яростный свинец.
Крисс в исполнении Юла Бриннера
был, разумеется, главный герой.
Но щенячий восторг вызывал в наших душах
Бритт,
который на железнодорожной станции
продемонстрировал виртуозное владение ножом,
вогнав его с тридцати ярдов
прямо в сердце глупого скандалиста.
На глупого скандалиста нам было,
разумеется,
тоже глубоко наплевать.

И вот эта сцена,
отполированная прожженными голливудскими спецами
до солнечного сияния
и покрытая сверху еще и слоем лака,
породила в среде советских подростков
эпидемию кидания ножей.
Нож стал одним из вторичных половых признаков,
отсутствие которого было постыдно.
До исступления и умопомрачения,
пытаясь при этом еще и передать пластику Бритта,
которого с блеском сыграл Джеймс Коберн,
мы кидали ножи.
В ход шло все,
что имело лезвие, которое могло воткнуться
в дерево,
в доску,
в забор,
в дверь,
в стену сарая.
Всё, разумеется, кроме кухонных ножей,
на которых лежала постыдная печать
вылинявшего быта.
Раскладные охотничьи ножи «Белка»,
у которых пластмассовая накладка на ручку была сделана в виде
белки.
Примерно такие же «Пантера» и «Лиса».
Ножи с рожками для извлечения гильз из ствола ружья.
Ножи-бабочки.
И даже выкидные ножи.
Но это была страшная редкость,
поскольку ими владела
отъявленная шпана,
которой до первой отсидки оставалось лет пять или меньше.
Но в основном были ножи попроще —
обычные складные, без изысков,
которые стоили в любом магазине «Культовары» в пределах
рубля.
Вполне понятно,
что ножи, пущенные подростковой рукой,
гораздо реже втыкались в забор или сарай,
чем ударялись плашмя,
что в конце концов выводило их из строя.
И тогда пацаны на уроках труда
зажимали в тиски металлические пластинки
и напильником заостряли их на конце.
И обматывали ручку самоделки проводом, а поверх него
изолентой.
И швыряли,
швыряли,

швыряли
до исступленья
в деревья,
в доски,
в заборы,
в двери,
в стены сараев.
Швыряли до умопомраченья.
Именно оно заставило меня и Толика Гершмана
зимой 1963 года
за сараями
при стечении десятка подростков,
чуть менее умопомраченных,
разыграть сцену «на железнодорожной станции».
У Толика был самопал —
прикрученная к деревянной ручке трубка,
в которую засыпается сера от спичек
и закладывается некое подобие пули.
И потом сера поджигается через пропил в трубке.
У меня стальная полоска,
выпиленная на уроке труда.
С тридцати ярдов,
как мы тогда понимали эту единицу длины.
По сигналу.
Я кинул.
Разумеется, шансов у меня не было никаких.
Он выстрелил.
После того, как чиркнул спичкой, на что ушло время.
То есть позже меня.
Шансов у него было побольше.
Но пуля просвистела в отдалении.

А потом вдруг обнаружилось,
что все ножи улетели,
словно перелетные птицы
в ту страну,
где,
как поется в переложенной на русский язык старинной песне,
не дают обратных билетов.
Все заборы, все сараи
с отметинами от втыкавшихся в бесстрастную древесину ножей
давно снесены.
Стив Маккуин, который был Вином, умер в 1980 году от рака.
Юл Бриннер, который был Криссом, умер в 1985 году от рака.
Джеймс Коберн, который был Бриттом, умер в 2002 году от
инфаркта.
Брэд Декстер, который был Гарри Лаком, умер в 2002 году от
эмфиземы легких.
Хорст Буххольц, который был Чико, умер в 2003 году

от воспаления легких.

Чарльз Бронсон, который был Бернардо О'Рейли, умер
в 2003 году от воспаления легких.

Роберт Вон, который был Ли, умер в 2016 году от рака.

Толик Гершман, который был, тоже умер. Давно.

Но, в общем, я тут уже ни при чем.

«Эй-вратарь-готовься-к-бою...»

Эй-вратарь-готовься-к-бою —

часовым-ты-поставлен-у-ворот!

Слова этой незатейливой песенки из фильма «Вратарь»,
вышедшего на экраны в 1937 году,

помнят все российские граждане достаточно зрелого возраста.

Главный герой фильма по фамилии Кандидов

совершил небывалое по нынешним временам

вознесение в социальном лифте —

от недотепистого грузчика арбузов

до блистательного футбольного вратаря,

которому доверена честь выступать за сборную страны.

Фильм насыщен социальным оптимизмом тех лет,

который царил в стране победившего социализма.

В стране, где с громадной производительностью

строились заводы и электростанции,

собирались рекордные урожаи,

где летчики покоряли небеса,

полярники обживали Антарктиду,

моряки бороздили бескрайние просторы,

пограничники зорко стояли на посту

плечом к плечу со своими четвероногими друзьями...

Много чего созидательного и рекордного

творилось тогда в Советском Союзе.

И, собственно, фильм «Вратарь» был именно об этом,

а паренек из астраханской провинции,

ловко ловивший арбузы,

был нужен сценаристам в качестве

символического топора,

из которого и сварили всю эту кашу,

добавив в нее любовь,

пару комических персонажей,

доблесть советских инженеров,

патриотизм,

разоблаченное коварство,

честь, достоинство и верность идеалам.

В общем, получилось хорошо и правильно.

И Сталин выпустил «Вратаря» на экраны.

Выпустил,

не разглядев
здоровенный кукиш в кармане сценаристов —
Лазаря Юдина
и Льва Кассиля.
Трудно сказать,
читал ли вождь повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм».
Но консультанты из органов не могли не читать.
Не доложили,
что фамилия вратаря – Кандидов —
абсолютно неуместна.
Даже вредна!
Потому что все переставляет с ног на голову.
Летят в тартарары —
социальный оптимизм,
вера в государство,
в справедливых и мудрых правителей!
В со-ци-а-лизм!
Всё, абсолютно всё это перечеркивала
глумливая ухмылка
вольнодумца Вольтера,
просачивавшаяся на экраны двадцать пятым кадром...
Ну, а сценаристы,
спустя много лет,
почили в бозе
в кругу чад и домочадцев
уже в безветренную брежневскую эпоху.
Умерли спокойно,
вполне безмятежно,
если сравнивать эту процедуру
с традициями тридцать седьмого года.
А Кассиль умер так еще и со Сталинской премией в кармане,
в котором когда-то размещался кукиш.

Примечание. Лев Абрамович Кассиль скоропостижно скончался от инфаркта 21 июня 1970 года в возрасте 64 лет во время просмотра телевизионной трансляции из Мексики финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Италии.

Вячеслав Иванов

Стихотворения

Иванов Вячеслав Александрович. 36 лет. Смоленск. Автор поэтических сборников «Нас на Земле двое» (2012 г.), «Крылья» (2014 г.) и «Бывает» (2018 г.). Победитель литературной премии «Справедливой России» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия России» (2016 г.), лауреат межвузовского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. Гумилева (Москва, 2013 г.), победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов имени Б.А. Ахмадулиной (Москва, 2017). Публиковался в литературных периодических изданиях: «Юность» (2012, № 1, 2016, № 3), «Литературная Россия» (2013, № 10), «Российский колокол» (2015, № 1–2), «Роман-Газета» (2017, № 6).

«Автобус. Девочка с айфоном...»

Автобус. Девочка с айфоном.
Бомжи несут сдавать картон.
И от Собора долгим звоном:
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон...

Старушка с палочкой. Рэнж-Ровер.
Собачка клянит колбасу.
Всем на Земле раздали роли.
Динь-дон, – не смей ронять слезу.

Сарай. Бараки. Новостройка.
Брусчатка. Пар. Открытый люк.
И переполнена помойка.
Динь-дон, динь-дон, – всё громче звук.

Мороз. Протянутые руки
Цыганских женщин и детей.
Динь-дон, динь-дон, – по всей округе.
Динь-дон, – ронять слезу не смей.

Ступени. Золото. Иконы.
Снимай ушанку – бей поклон.
Прими судьбу свою покорно.
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон.

«Живу в молчании. А с кем...»

Живу в молчании. А с кем
Поговорить? Все безъязыки.
Не помогает мне в Москве
Ни мой могучий, ни великий.

От тишины с недавних пор
Пишу рифмованные строки
О том, как мой унылый двор
Облюбовали две сороки.

За ними трудно повторить
Произносимые созвучья.
Но с ними можно говорить,
Забыв великий и могучий.

Я из окна кидаю хлеб
Двум черно-белым балаболкам.
Язык их, кажется, нелеп.
Но и в моем не больше толку.

«Нежностью первого снега...»

Нежностью первого снега
Я покорён.
Ни одного человека
Под фонарем.

Только потоки снежинок
В светлом пятне.
Сколько исправить ошибок
Хочется мне.

Если бы ты понимала,
Если... Хотя
Утром какой-нибудь малый,
Здесь проходя,

Грязной кирзою натопчет.
Варвар! Ты знал,
Сколько мне стоила ночи
Той белизна?

«Когда Серега умер от запоя...»

Когда Серега умер от запоя,
За ним прислали ржавую Газель.
Тем утром на дорогах Уренгоя
Заснеженный свирепствовал апрель.

Машина у подъезда сев на брюхо,
Не в силах скорбный свой продолжить путь,
Беспомощно завывала, как старуха,
Пришедшая соседа помянуть.

И кто-то говорил: «Серёга шутит!
С ним вечно приключается курьез!».
И было что-то страшное до жути
В бессмысленном вращении колес.

«Просить остаться уходящего...»

Просить остаться уходящего
Еще зазорнее, чем паперть.
У нас есть только настоящее:
Вот этот стол и эта скатерть,

И занавеска, что качается
От ветерка, и запах лета.
И я сейчас могу отчаяться,
Но завтра станет прошлым это.
Оно поблекнет и осунется,
Как человек с тяжелой ношей.
Вот, ты уже идешь на улицу.
И я уже почти что брошен.

Но с точки зрения грядущего,
В масштабе всей моей планеты
Ничтожно всё. Но ты, идущая
К такси, не ведаешь об этом.

«Дорога – пыль. Дорога – снег...»

Дорога – пыль. Дорога – снег.
Цветы на ней найдешь едва ли.
Я прочь уехал от печали.
В вагоне – пьют. В вагоне – смех.

Постель прописана в билет.
В окне – дома. В окне – посадки.
Во мне – туманные догадки,
Что счастья не было, и нет.

А проводница гасит свет.
Она – здесь власть. Она – здесь сила.

Она вчера меня спросила:
«А ты случайно не поэт?».

Я открестился: «В наш-то век
Какие могут быть поэты?».
Все на Земле уже воспето.
Дорога – пыль. Дорога – снег.

«Так ветрено. Ты пишешь мне: «Привет»...»

Так ветрено. Ты пишешь мне: «Привет».
Я брат тебе? Ну, что ж, прощай, сестрица.
А полиэтиленовый пакет
Поднялся над домами, словно птица.

Не зная притяжения Земли,
Он видит, как пишу тебе я: «Ира,
Как жаль, что мы с тобою не смогли
Вот так же воспарить над этим миром».

И в этом точно нет ничьей вины.
Да просто под ногами слишком шатко.
Как сверху мы, наверное, смешны
В печально разноцветных зимних шапках.

Ты спросишь: «Ты расстроился?». Ничуть!
Пускай, ты посчитаешь, я с приветом,
Но знаешь, я чего сейчас хочу?
Стать полиэтиленовым пакетом.

Велосипед

Мне снился мой велосипед —
Складной выдавший виды Аист.
Как будто я на нем катаюсь.
Как будто мне двенадцать лет.

Дороги пыльной полоса
Мне тоже снилась ночью этой.
Как будто день. Как будто лето.
Как будто я открыл глаза.

А на багажнике моем,
Поджав колени, ехал Боря.
Как будто он еще не болен

И покидать способен дом.

Всю ночь мы с ним с горы неслись,
И непрерывно хохотали.
А я крутил, крутил педали,
Опередить пытаюсь жизнь.

«Как живу? Да обычно весьма...»

Как живу? Да обычно весьма,
Как положено жить человеку.
За окошком – скорей бы весна —
Листья медленно падают в реку.

И такая ж осенняя грусть
На картине твоей без названья.
Раньше думал, от горя сопыюсь,
Но недуг победило сознание.

Пью – не смейся – настои из трав
И хожу до обеда в халате.
А сегодня, тебя разгадав,
В безвозвратное прошлое глядя,

Стер с холста безымянного слой,
А под этой картиной другая.
Там в подснежниках поле весной,
А не птиц улетающих стая.

«Я б рад ответить за базар...»

Я б рад ответить за базар,
Но ни базара нет, ни рынка.
И ты состарилась, Маринка,
Хоть я об этом не сказал.

В торговом центре суета,
И громыкает эскалатор.
А ты потягиваешь латте,
Который стоит здесь от ста.

Все это мелочи. И я
Свою отсчитываю мелочь.
А ведь когда-то ты умела
Меня отвлечь от бытия.

«Не выбросить печаль из головы...»

Не выбросить печаль из головы,
Когда такая осень на пороге.
Приехали поэты из Москвы.
Читали выразительные строки.

И по обыкновению трезвы
Их мысли были в этом пьяном мире.
Приехали поэты из Москвы.
Мы с ними затусили на квартире.

Мы говорим, мы так снимаем швы
С души, порой, изрезанной до крови.
Приехали поэты из Москвы.
Они сегодня главные герои.

У каждого из них внутри дыра.
Откуда же на все берутся силы?
Я спать иду, а им уже пора
В дальнейший путь по матушке-России.

«Он не то, что одет не по моде...»

Он не то, что одет не по моде,
Он о ней и не слышал, зато
Леонид регулярно приходит
К нам на каждое наше лито.

Он не пишет стихи или прозу.
Он седой, как декабрьский лес.
Леонид задает нам вопросы,
Провожает домой поэтесс.

Он несет и свое, и чужое,
И, порой, раздражает, да так,
Что однажды Антоненков Жора
Леониду сказал: «Вы – дурак!»

И Марина Сергеева тоже
Леониду возьми да скажи:
«Вы немного на черта похожи!
Не нужны на лито нам бомжи!

Вы ни в рифмах, ни в ритмах не дока!
Не влезайте-ка в наши дела!»
В общем, как-то довольно жестоко
Леонида она прогнала.

Он ни разу с тех пор не являлся.
Да о нем и не вспомнил никто,
А весной нашли водолазы
Леонидово в речке пальто.

Молчалив был Антоненков Жора,
А Марина пустила слезу.
В общем, выдался вечер тяжелым.
Расходились в десятом часу.

И покуда поэты из вида
Во дворах исчезали глухих,
Мне почудилась тень Леонида,
Бормотавшая наши стихи.

«Я в бар хожу по четвергам...»

Я в бар хожу по четвергам
И занимаю столик справа.
Я ненавижу шум и гам,
Когда вокруг меня орава.

Четверг же день, когда толпа
Еще не близится к субботе.
В четверг ведет меня тропа
К неограниченной свободе,

Где начинают свой полет
Стихи к официантке Вере.
И пусть она их не поймет, —
Не перебьет, по крайней мере.

«Напиши мне письмо...»

Напиши мне письмо,
Дорогой дружище.
Я забыл твое лицо.
Память – пепелище.

Ты живешь теперь в горах

Или все ж у моря?
Иисус или аллах
Утешает в горе?

У тебя жена и дочь,
Иль в остывшем доме
Согревает только ночь
Ледяной ладонью?

А в ответ, как день, бела,
Скрипнув дверью старой,
Вижу, женщина вошла
И тихонько стала

За спиною, у трюмо,
И глядит, босая,
Как пишу себе письмо
И в огонь бросаю.

«...А ночами к Ивановым от Иванниковых...»

...А ночами к Ивановым от Иванниковых
К таракану приходила тараканиха.

Пахла медом и корицей, расфуфырена.
То халвы кусок притащит, то зефирины.

Вот сидят, жуют часами втихомолочку.
Что останется – запасливо на полочку.

Предлагал у Ивановых он остаться ей, —
Уходила – провожал до вентиляции.

Долго думал, шевеля усами рыжими,
А потом в кладовке прятался за лыжами

Возле банок с огурцами и капустою,
Всем хитином одиночество предчувствуя.

Евгений Мауль

Стихотворения

Родился в 1973 в Астане (Целинограде), по специальности филолог. Работал в качестве лектора по литературоведению на факультета славистики университета имени Фридриха-Александра в баварском городе Эрлангене. В настоящее время является генеральным директором торговой компании по импорту, экспорту и оптовой торговле спиртных напитков, вин и деликатесов. Занимается разработкой и продвижением водочных брендов. Пишет короткую прозу, лирику, конкретную и визуальную поэзию, концептуальные тексты на русском и немецком языках. Публикации в литературных журналах Германии, Австрии, США, России, Казахстана, Узбекистана: «Umlaut», «Et cetera», «Зарубежные задворки», «Плавучий мост», «Крещатик», «Черновик», «Дальний восток», «День и ночь», «Уральская новь», «Футурум Арт», «Аполлинарий», «Нива», «Простор», «Звезда востока», «Литературный европеец», «Мосты» и др. Лауреат литературной премии города Филлаха (Австрия), визуальный поэтический текст «бобик и колбаска» выставлялся в Музее неонконформистского искусства в Санкт-Петербурге на выставке "poetry art".

Точка невозврата

У самого края
ревущей, клокочущей бездны,

у жерла вулкана
на языке огнедышащей лавы,

у самого ока
взалкавшего жертву тайфуна,

у горизонта событий
всепоглощающей чёрной дыры

распадаясь,

растворяясь,

расщепляясь на атомы,

ускользающим
сознанием я понимаю,

что ты скрижаль,
неподвластная прочтению,

ты мистерия,
недоступная объяснению,

ты моя

точка

невозврата.

Степная мистерия

Горит Сары-Арка
огнём диких маков

Над головой сковорода,
раскалённая добела

Степь змеей заползает
в нос, уши, горло, глаза

дыханием горькой полыни,
жужжанием, пылью

Дрожит окоём
Шевелится марево

Ковыль да полынь,
оводы, саранча

Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки

На твоих губах
цвета спелого граната

Степных кобылиц
капля молока

Снимаю её языком,
пьянея от счастья

Ковыль да полынь,
оводы, саранча

Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки

Среди жухнувшей травы
сурок махнул лапкой

На сотни вёрст

На сотни лет

Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки

Плавится солнце
Прочь текут реки

Проносятся мимо
города, лица, годы

А пред мысленным взором
степь, жара, ветер, маки

И на языке до сих пор
капля кислого кумыса

Да пьянящий вкус
твоих губ цвета граната

Аральские листки

* * *

Вопреки своей воли
от пути отклоняясь —
от пути, нацарапанном
скреблом мироздания
на коже Земли

Амударья тёмные воды,
тёмные мутные воды
несла по сосудам полей:
узким арыкам и грядкам,
к жаждущим влаги корням.

Теряла Амударья воду,
прочь утекая бесследно
в серого грунта слои,
под солнцем палящим
в пар превращаясь.

Поднималась Амударья вверх
по венам хлопчатника,
чтобы утром однажды
всё поле покрылось
мягким, пушистым снежком

* * *

Тем жарким летним утром
палящее южное солнце

не нашло своё отражение
в зеркале Муйнакской бухты.

Дети, взрослые и старики
бежали плача и крича

за ушедшим внезапно
под покровом ночи морем.

До сих пор в дрожащем воздухе
раскалённой пустыни Аралкум

среди жёлто-серых песков,
среди саксаула и полыни,

там где раньше суда
Аральской флотилии

рассекали носами
синие волны

я отчётливо слышу
их отчаянные крики,

я отчётливо слышу
их безысходные стенания

Низверженный Перун

Высоки да сочны на Волхова берегах травы.
Высоки травы да темны дубравы.
Как слеза чисты ледяные ключи,
Да чернее ночи грачи.

А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами,
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древяной лижет бок бурун.

Не распустится уже цветок о восьми лепестках,
О восьми лепестках, огненных ростках.
Растоптали капище да хоромы.
Свержен повелитель грома.

Разогнали седовласых волхвов по своим домам,
По своим домам да дремучим лесам.
Не измерить Киев старой мерой!
Новая на Руси вера!

А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами,
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древняной лижет бок бурун.

Дубровник

Полсотни кун¹ на два билета и на «хвала»²
сединами запорошённого хорвата
мы обменяли и взбежали вверх на стену³,
ступеней камня как бы невзначай касаясь.

Здесь ветер-озорник, смеясь, являет миру,
легко задрав подол лазоревого платья,
ног стройных наготу твою, сияньем бронзы
гипнотизирующую мужские взгляды.

С Минчеты⁴, величавой башни, весь Дубровник,
стекающий ручьями яркой киноvari
со склона Срджа⁵ к синим языкам Ядрана⁶,
лучами позолоченным, влез в кадр взгляда.

Церковный благовест летит над древним градом:
над княжеским дворцом и над мощёной Плацей⁷,
над церковью Святого Влаха и над рынком,
домами горожан, монастырями, портом,

над крепостями, бастионами, стеною,
над ренессансом, поздней готикой, барокко,
над кипарисами и лаврами, над хвоей
душистых пиний, над морскою бирюзою.

И мы с тобой не в состоянии представить,
что в крышах черепичных, на которых

¹ Куна – национальная валюта Хорватии

² Хвала – «спасибо» на хорватском и сербском языках

³ Вход на крепостную стену Дубровника платный

⁴ Минчета – башня в крепости Дубровника, один из символов города

⁵ Срдж – гора, у подножия которой расположен Дубровник

⁶ Ядран – Адриатическое море

⁷ Плаца – мощёная городская площадь

воркуют беззаботно голуби, недавно
зияли дыры от снарядов тех, кто «хвала»

другими буквами выводит на бумаге,
что город был объят огнём и дымом,
что чёрные стволы обугленных деревьев
сады и улицы и берег наполняли⁸.

И я, на памяти фотобумаге снимок —
дворцы и крепости, мощёные проулки
и голубей на красных черепичных крышах,
и зелень буйную, и золото на волнах —

неспешно закрепляя, в воздухе рукою
уверенно вожу, выписывая пальцем,
латиницу с кириллицею воедино
в пространстве связывая, слово «HValA».

⁸ Во время войны в Югославии в 1990-х годах город неоднократно обстреливался сербами.

Юлия Пивоварова

Стихотворения

Пивоварова Юлия Леонидовна родилась в 1966 г. в Новосибирске. Училась на Высших литературных курсах. Работала осветителем в Новосибирском театре оперы и балета, редактором в журнале «Горожанка», сотрудничала на радио, в газетах Новосибирска. Публиковалась в журналах «Юность», «Знамя», «Сибирские огни». Автор поэтических книг «Теневая сторона», «Охотник», «Шум». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Пикник

Отмель – жёлтый поясок.
Солнце на орбите.
Вот, добавьте спирта в сок.
Нате – покурите.
Вы становитесь пошляк
После первой дозы.
Над полями наших шляп
Мухи и стрекозы.
Я работаю в КБ.
Скучно, ну и что же?
Я ж не жалуюсь тебе,
Господин хороший.
Над природою рябой
Небо цвета джинса.
Я довольна и собой,
И своею жизнью.
Совпадают ли с тобой
Наши интересы?
За рекой грохочет бой,
Наступают бесы.
Будет в городе салют,
Мёртвые на кленах,
Если рыжие побьют
Синих и зелёных.
Брат мой синий – старшина,
Ходит к рыжей Рите.
Революция страшна,
Что ни говорите.

«А ну давай, читай письмо пустое...»

А ну давай, читай письмо пустое,
Возьми своё от белой пустоты.
А мы цветы, мы умираем стоя.

Красивые весёлые цветы.
Мы окружаем сталинские клубы,
Мы убегаем за пределы клумб,
А наши нежно-розовые губы
Нежней и розовее прочих губ.
А ну давай, дождись воды отстоя,
Возьми своё от влажной темноты.
А мы пришлём тебе письмо пустое.
А ты нам не ответишь.
Мы цветы.

«Дедушка, мальчик, мужчина...»

Дедушка, мальчик, мужчина,
Домик, сарайка, гараж,
Скука, отрада, кручина,
Галлюцинация, шарж,
Лязг, дребезжание, бряки,
Призрак, фантом, персонаж,
Снобы, дебилы и скряги
Мир переполнили наш.
В круглые крупные окна
Смотрят квадратики глаз,
Видят льняные волокна
Снега и солнца алмаз,
Ёлочку, лавочку, птицу,
Дворника, лыжника, пса...
И начинает двоиться
Память в квадратных глазах.

Сумерки

Собака с крыльями Пегаса
Тюльпаны с клумбы пожирала.
Шестирублёвой дозой кваса
Плеснул ямщик в лицо жандарма.
Крестьянин с зеброю седой
Гуляли медленно по пашне.
Рейхстаг рубиновой звездой
Маячил Эйфелевой башне.
Дышала бешено Джульетта,
Швыряла в озеро печенье.
Экран торжественного лета
Не отвечал на подключение.
Как сахар таяла программа.

Сидел реланиум в кармане.
«Уйди!» – сказала мне реклама.
«Умри!» – сказала я рекламе.
Она ответила: «Оставьте,
Оставьте мне хотя бы голос».
Друзья сидели на асфальте
И переписывали глобус,
А все влюблённые созданы
Ушли толпой в густой орешник.
Печальный грешник ел черешню,
Молясь на сумерки сознания.

«В ливне поля мокнут...»

В ливне поля мокнут,
Мокнут поля шляп.
Ваши очки – омут,
Как бы сказал пошляк
Вы на себе тащите
Тёплых одежд пуд.
Вы-то сама – так себе...
Нечего нам тут.
Ваши слова – ересь.
Ваши глаза – плесень.
Ваши очки – прелесть,
Лучше моих песен...

Свадьба

Вечера трёхцветная свеча,
И водила в путь зовёт клаксоном,
И нога озябла под капроном,
И кровинка капает с ключа.
С белой газированною пеной
Синяя смешалась борода.
В душной переполненной пельменной
Хнычет полоумный тамада.
Одинокий гусь лежит на блюде.
У дверей кавказцы курят пыль...
За столом сидят худые люди.
Дарят бабки крашеный ковыль.
Светится прелестная невеста
В кружеве и в горном хрустале.
Звуки похоронного оркестра
Издают игрушки на столе.

Гость незванный шепчет мне на ухо
Чёрт-те что и не понять о ком.
Потирает руки точно муха
Наглый полицейский за окном.
Пьёт свекровка – тёмная лошадка,
Поминутно просит слова поп,
И под крики яростные «Сладко!»
Губы опускаются на лоб.
Прибывают лица местной власти,
Муторно, солидно говорят...
Тридцать шесть картей, четыре масти
Карлица раскладывает в ряд.
Кум кричит куме: «Тебя посадят!»
А кума шипит ему: «Подлец».
Скоро утро. «Свадьба, свадьба, свадьба» —
Завывает Лещенко – певец.

«Это небо ночное в снегу...»

Это небо ночное в снегу
До краев переполнено вьюгой.
Царь небесный мечтает: «Сбегу
Из дворца и смешаюсь с прислугой».
Ветер гимны поет никому,
Всюду пахнет подобием бунта,
И склоняясь к тебе одному,
Я совсем исчезаю как будто.
И сама выбирая наркоз,
Не спеша становлюсь нелюдимою.
И вдыхаю сибирский мороз
Через фильтр сигаретного дыма.

«Мой ренессанс цветёт махровым цветом...»

Мой ренессанс цветёт махровым цветом.
Моя любовь равна твоей тоске.
Я нарисую собственное лето
На школьной поцарапанной доске.
Позорный мент гадает на ромашке.
Быть или не быть, решает с пьяных глаз.
Я мну две папиросочки в кармашке.
Коса до пят. Во лбу горит алмаз.
Мне нравятся ночные светофоры
И пошлости пленительный успех.
Люби меня. Неси меня за горы.

И ни о чём не спрашивай у всех.

«За городом античным...»

За городом античным,
Набитым снежной крошкой,
Над корпусом больничным
Кружится красный коршун.
Врач медленный и модный
Прошёл, раздет по пояс.
Своей зелёной мордой
Стучался в окна поезд.
А свет в тяжёлых шторах
Стоял, как дура, хмуро,
И в гулких коридорах
Рыдала увертюра.
И с пальмою осина,
Обнявшись крепко в холле,
Похоже, были сильно
Политы алкоголем.
Скажи, какого чёрта
Ко мне ты привязался?
За ручку, как девчонку,
Втащил в кромешный хаос
Из сюр и из сора,
Из шума и из гвалта.
Плечо твоё – опора,
Спина твоя – как парта.
И холодно и скоро
Становится привычным
Летающий с косогора
Прилив любви первичный,
Как будто бы пролили
Все краски и оттенки
На головы, на крылья,
На лица, на коленки.

«Я помню Балтийский залив...»

Я помню Балтийский залив
И пьяного финна на Невском,
И спальный тупой жилмассив
Под небом ночным королевским.
Лишь тот возникает из тьмы,
Кто в жизни окажется главным.

В утраченном времени мы
Похожи на ролик рекламный,
На вырванный фильма фрагмент,
На мультик дурной авангардный,
На опыт, которого нет,
На бред чистоплюя вульгарный...
Я помню любимых тоску
И мелочный вид нелюбимых,
Я помню звериный испуг
Бездомных людей нелюдимых,
Девуцу верхом на коне,
По улице мчащую зная.
А вспомнит ли кто обо мне,
Не знаю...

«На площади трёх помоек...»

На площади трёх помоек
Качаются люстры звезд
И эхом крутых попоек
Открытый зовёт подъезд.
Промокший прохожий поздний,
Озябший и жалкий тип,
Нырять в подъезд, как в поезд,
Который готов уйти.
Вбегает в подъезд спонтанно,
Туда, где тепло и свет,
Где голосом Левитана
Сосед объявляет: «Снег».
Туда, где у батареи,
Наверно уже с часок,
Мы руки с тобою греем
И медленно пьем «четок».
Попутчик дрожит, как кролик,
Какой-то нездешний он.
Но с площади трёх помоек
Не сдвинется наш вагон.

«То степь, то город, то вершина.....»

То степь, то город, то вершина...
То засыпаю, то живу...
Мою траву припорошило
И приморозило листву.
Моя земля заиндевила,

Над нею птичий пилотаж.
Как хорошо уйти из плена,
Словами разве передашь!
Прильнуть спиной к прохладной стенке.
Смотреть, как бегают паук.
Как психбольной снимает пенки
С несуществующих наук.

Весна

Уже пошли подснежники в лесах,
Пушистые, полезли из проталин,
Растаяли снежинки в волосах
И Первомай отметил пролетарий.
Уже сложили мусор во дворах
В специально отведённые пакеты.
Уже сгорели шапки на ворах
И разорались пьяные поэты.
Уже разделись девочки почти
До самых откровеннейших конструкций.
И чурка без особенных причин
Нажрался и валяется как русский.
И сквозь газон пробился малахит
От лёгких рук сотрудниц зелентреста,
Но вся зима внутри меня сидит,
Как будто в мире нету лучше места.

Максим Лаврентьев

Прислушиваясь к музыке иной...

Максим Игоревич Лаврентьев родился в Москве в 1975 году. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал кладовщиком на автостанции, затем редактором в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», главным редактором журнала «Литературная учеба». Редактировал романы Виктора Пелевина, Сергея Есина и др. Автор нескольких поэтических книг, в том числе – стихотворного переложения псалмов Давида, квазибиографической повести «Воспитание циника», рассказов в сборниках современных писателей изд-ва «Эксмо», книги «Знаки бессмертия», (исследование предсмертных поэтических текстов А.Пушкина, А.Блока, В.Маяковского и др.), а также ряда статей по истории награды после революционной России. Последнее по времени издание – монография «Дизайн в пространстве культуры» (М.: «Альпина Паблишер», 2018). Регулярно проводит в московском «Есенин-центре» авторские лекции, посвященные жизни и творчеству В.Хлебникова, Д. Хармса, Д.Андреева и др.

По бульварам

Там, где на месте сталинской воронки
поднялся вновь храм Господа Христа,
покинул я ту сторону Волхонки
и перешел на эту неспроста:
признаюсь вам, в Российский фонд культуры
я нес бумаги для какой-то дуры.

И опоздал, конечно. Как назло
все время попадаю в передряги!
Обеденное время подошло.
Ну что ж, охранник передаст бумаги.
Пусть она заслуженно поест,
а мне пора освободить подъезд.

Вот спуск в метро. Но день такой веселый,
что захотелось погулять, как встарь.
Так, помнится, пренебрегая школой,
бродил я здесь. И тоже был январь.
Бассейн еще пытел клубами пара.
И полз троллейбус так же вдоль бульвара.

Раскайвшись за прошлые года,
зима повсюду сделала успехи —
лопатами крошили глыбы льда,
сгребали снег бесстрастные узбеки.
А дальше впереди бульвар был пуст
и гулко отдавался снежный хруст.

Направо поперек бульвара лодка

огромная привычный портит вид,
а в лодке, словно за нее неловко,
с собой не схожий Шолохов сидит.
И, опасаясь новых козней вражых,
налево убегает Сивцев Вражек.

А вот и Гоголь – с ним произошла
лет шестьдесят назад метаморфоза:
измученного лицезреньем зла
сменил здесь бодрячок официоза.
Прилизан и дипломатично сер
сей дар «Правительства СССР».

С верблюдом про себя сравнив кого-то,
кто сплюнул под ноги на тротуар,
я обошел Арбатские Ворота
и на Никитский выбрался бульвар.
Он и у вас не вызвал бы восторга:
театр прескверный да музей Востока.

Иное дело милый мой Тверской!
Да, потрудились тут, обезобразив
бульвар старинный заодно с Москвой.
Но все ж малоприметен Тимирязев.
И лишь Есенин, точно Командор,
кидает сверху вниз нездешний взор.

Вон, за оградой, наша alma mater.
Мы разошлись, как в море корабли,
но, вероятно, пересох фарватер —
сидим и ноем, братцы, на мели.
Уж лучше бы строчить нас научили
для заработка – в день по доброй миле!

Нет, нет, шучу. Спасибо и за то,
что мне профессор объяснил толково
(а был он, разумеется, знаток):
поэзия – не вычурное слово,
прозрачность в ней важна и глубина,
хоть видно камни – не достать до дна.

А вот и ты, чей образ богатырский
оправдан в опекушинской броне.
Пусть мне милей и ближе Боратынский,
но ты его сильнее, ясней вдвойне.
И вижу я в конце дороги торной
твой памятник – другой, нерукотворный.

Гораздо больше облик изменен.

Венок лавровый, на плечах гиматий.
В руках – еще с эпических времен —
кифара для возвышенных занятий.
Три Музы возле ног твоих. И кто?
Евтерпа, Талия и Эрато...

Возможно, это подползает старость —
я на ходу стал забываться сном,
и обратил внимание на странность,
когда вдруг поскользнулся на Страстном:
как тонет графоман в своем экстазе,
тонул бульвар в сплошной весенней грязи.

Неужто на Тверском была зима?!
Здесь под деревьями чернеют лужи.
Я помешался? Мир сошел с ума?
Невозмутим Рахманинов снаружи.
Вот он сидит ко мне уже спиной,
прислушиваясь к музыке иной.

Бульвар Петровский совершенно пуст.
Отсюда в незапамятные годы
к реке Неглинной начинался спуск.
Теперь её обузданные воды
заключены в трубу, под землю, вниз.
Речные нимфы превратились в крыс.

А в «Эрмитаже», где едал Чайковский,
где Оливье свой изобрел салат,
сегодня в полночь будет бал чертовский —
в подвалах пляска Витта, маскарад.
Для этого арендовали бесы
театр «Школа современной пьесы».

За Трубной начинается подъем —
Рождественский бульвар качнулся пьяно.
В эпоху культа личности на нем
была квартирка Бедного Демьяна.
А прежде, верно, ошивался тут
еще какой-нибудь придворный шут.

По Сретенскому прогуляться мало.
Короткий он, да и потребность есть
здесь, на остатке городского вала,
под чахленькими липами присесть.
Не так легко таскаться по бульварам,
а в этот раз и рифмовать, задаром.

Вздыхнув, пойду – на лебедей взгляну

в пруду продолговатом, что, по данным
анализов, опять, как в старину,
пришла пора именовать «поганым»;
не размышляя «быть или не быть»,
куплю себе чего-нибудь попить.

Воспоминаний серое пальтишко
я скину к черту и помчусь вперед,
туда, где ждет уже другой мальчишка, —
туда, на площадь Яузских Ворот.
И с веком наравне отправлюсь дальше,
в Заяузье, в Замоскворечье даже.

Век двадцать первый! Не шали, малец!
По-нашему, ты пятиклассник типа.
Не столь суров, как страшный твой отец,
но выковырял штамм свиного гриппа.
И все же ты – чему я очень рад, —
по крайней мере, не акселерат.

Парк во времени

Как хорошо бывает с Невского,
с метафизических высот,
упасть на улицу Вишневого —
слегка массируя висок,
за завтраком послушать радио,
тетради старые достать
и всё прошедшее и раннее
скептически перелистать.
Одно мертво, другое издано,
и снова – с чистого листа.
Что делать? Убираться из дому,
покуда ты не арестант!
Куда? Неплохо в парк направиться.
День ослепительно хорош.
Итак, скорее в парк – на празднество
распахнутых июльских рощ!

Я с детства помню осень в городе:
парк превращался в райский сад
и в нём волшебнo пахли жёлуди
сквозь бесконечный листопад.
Казалось, полчища несметные
обрушивались в перегной,
и лишь немногие бессмертные
вдруг обретали мир иной.

Кружась, валились листья жёлтые
в беспамятство, где жизни нет,
а эти маленькие жёлуди
бессмертными казались мне.
А по дорожкам по асфальтовым
под вечер дождик колесил,
проходим сам себя просватывал
под осторожный клавишин.

Всегда дородные и статные
кумиры позлащённых роц,
зимой теряют в парке статуи
свою божественную мощь.
Как будто голых обывателей,
их выставляют на расстрел.
Амура сразу убивать или
сначала должен быть растлен?
Среди бессилия пейзажного,
тебя, Геракл, тебя, атлет,
в гроб заколачивают заживо,
покрашенный как туалет.
А рядом, сохраняя выдержку,
в каракулевых шапках крон
застыли сосны здесь навтыжку
и клёны с четырёх сторон.

Зимой присутствовал при казни я,
но был весной вознаграждён:
нет в мире ничего прекраснее,
чем освежёнными дождём
аллеями, ещё безлюдными,
спешить забраться дальше, вглубь,
и там бродить двоим возлюблен
ным,
касаясь мимолетно губ,
и чтобы парк светлей, чем детская,
от птичьих голосов пылал,
и чтобы музыка чудесная
из памяти моей плыла.

«Всё, что трепетно любишь ты...»

Всё, что трепетно любишь ты,
проникает из пустоты
в иллюзорную форму тела.
Любишь музыку? Посмотри,
эта флейта пуста внутри.

Так откуда берётся тема?

Всё, чего ты боишься, брат,
можно смело в расчет не брать.
Если хочешь, давай обсудим.
Но один безусловный пункт:
должен сердцем ты выбрать Путь,
многим кажущийся абсурдным.
Я и сам убеждал себя,
что дорога, стезя, судьба —
только бредни молокососа.
Повзрослел я. Благодарю
этот полдень, закат, зарю
перед каждым восходом солнца.
И люблю я морской прилив,
и листок, что к стеклу прилип,
до обиды, до слёз мне нужен.
Мир — лишь призрачный караван
или праздничный карнавал, —
пуст внутри, но так мил снаружи!

«Наблюдать как носится чижик...»

Наблюдать как носится чижик
или слушать дятла-радиста —
ради вот таких мелочишек
ты, видать, на свет и родился.

И не надо корчить эстета,
говорить, что мир только ширма,
что твой дух выходит из тела,
ибо так велел ему Шива.

Лучше сдайся солнцу и лету
и разглядывай одуванчик;
мир, который крутит рулетку,
всё равно тебя одурачит.

«У исторического парка...»

У исторического парка
есть власть над временем текущим.
И москвит времён упадка
спешит к тем зарослям, тем кущам,
в которых тени «Илиады»

сговорчивы и креативны,
где отрываются дриады,
атланты и кариатиды.

Вот он, спасённый миф античный,
среди приапических реликвий!
Пусть неглубокий, но отличный
от ханжества иных религий.
И москвит, поклонник Сартра,
подхлестнутый еловой веткой,
вглубь романтического сада

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.